

Петр закрыл за мной ворота.

— Су-дье! — старательно, по слогам произнес он, переиначив иностранное слово на привычный лад, и требовательно уставился на меня в ожидании восхищенной гримасы — дескать, во дает, силен, собака, мать его! Смятения чувств я, прямо скажем, не испытывал, но исполнил свой мимический долг и аккуратно переместил ступню с тормоза на газ.

Здесь охранник не полиглот; сомневаюсь, честно говоря, что он осилил какой-нибудь иностранный язык хотя бы в рамках убогой школьной программы. Но его сдает благородная страсть коллекционера. Петр собирает, записывает и заучивает наизусть формулы прощания на разных языках. Чопорному литовскому «sudie» я сам его научил, блеснул эрудицией, а это было непросто, всякие там «гуд бай», «ауфидарзейн», «адью», «чао», «аста ла виста» и даже «до видження» Петр узнал задолго до моего появления в этом дачном поселке, обитатели которого пересекают всевозможные государственные границы чаще, чем порог охраняемых Петром врат. Я оказался очень полезным знакомством: старожилов и их гостей любознательный охранник давным-давно выпотрошил, а в его белом линованном блокноте осталось еще много чистых страниц.

Я вошел в его положение и взялся пополнять коллекцию. Благодаря мне в блокноте Петра появились татарское

«сау булыгыз», эстонское «нягемисени», голландское «дуй», латышское «уз рэдэшанос» и венгерское «висонтлаташа»; за зиму его коллекция украсилась узбекским «хаер саламат булсин», гэльским «дья дьт», грузинским «нахвамдис» и одиозным китайским «хуй цзиень», а я все не мог успокоиться, продолжал расспрашивать знакомых и открывать словари в книжных магазинах — в те редкие дни, когда выбирался в Москву.

Не то чтобы мне так уж нравился охранник Петр, скорее наоборот, у деда благодарность за безупречную службу в органах на лбу написана, а подобные надписи, скажем так, не совсем в моем вкусе. Но у меня страсть пополнять чужие коллекции. Как начал в пять лет таскать отцу все найденные на улице ключи, так до сих пор не могу остановиться.

Однако петровская эпоха в моей жизни закончилась; вряд ли я когда-нибудь сюда вернусь, разве что в гости к Пашке, любезно одолжившему мне свой белокаменный терем для сложной, но поучительной лабораторной работы на тему: «Сведет ли меня с ума зима в Подмоскovie?» Результат, на мой взгляд, вышел отрицательный; впрочем, со стороны, говорят, виднее. Ну вот и проверим, встреча с крупнейшими экспертами в этой области состоится не далее чем завтра.

— Са-ё-нара, Филипп Карлович, — пробасил мне вослед страж ворот.

Надо же.

Мне нравится Москва, но это совершенно не мешает люто ее ненавидеть. Она — враг, которому я сдаю одно сражение за другим. Все мегаполисы — пасти многоглавого Кроноса, а Москва — самая ненасытная из них. Она алчно пожирает мое время, а значит — меня самого. По большому счету, у человека нет ничего, кроме времени и способности осознавать его течение; впрочем, у подавляющего большинства способность эта изрядно притуплена, но меня миновала милосердная длань небесного анестезиолога, я

постоянно, всем телом ощущаю, как течет через меня время, проливается через край, утекает. К этому я более-менее привык, вернее, научился *отвлекаться*, но в Москве время хлещет из меня как кровь из рваной раны, так стремительно, что только искренняя ненависть к агрессору помогает мне не удариться в панику.

Первым пунктом программы у меня значится Старомонетный переулок в Замоскворечье, одна из четырех квартир, купленных по случаю во времена моей персональной эпохи больших денег, бурной и непродолжительной. Теперь они обеспечивают мне безбедное и восхитительно бессмысленное существование. Я, кстати, еще в пятом классе, начитавшись романов из отцовской библиотеки, честно написал в сочинении, что, когда вырасту, хочу стать рантье. Это была моя первая двойка по литературе и третий, если не ошибаюсь, грандиозный скандал с участием завуча, даже Карла вызвали в школу; он, впрочем, разочаровал педагогов, горячо одобрив мой выбор, хотя смеяться, конечно, мог бы и поменьше.

И чего, спрашивается, было шум поднимать, вышло-то все по-моему, как всегда — уж если я чего-нибудь захочу *по-настоящему*, так и будет, даже если ради этого придется изменить государственный строй на одной шестой части суши; мне бы теперь еще вспомнить, как это — хотеть *по-настоящему*. Давно уже ни хрена не получается, я и пробовать перестал.

Квартира в Старомонетном — самая маленькая и неустроенная, единственная, которую я не сдаю. Считается, что я здесь живу, на самом деле, большую часть времени тут просто хранится барахло и пылится мертвая араукария, чья неуспокоенная душа, не сомневаюсь, гремит по ночам призрачными осколками глиняного горшка. Должна же быть в моей жизни хоть какая-то мистика.

Вот и сейчас я просто прибавил к куче хлама еще две сумки, извлеченные из багажника, даже проветривать по-

мещение не стал — некогда, потом когда-нибудь, или никогда, поживем — увидим.

Далее — Белорусский вокзал. Дорожный саквояж в камеру хранения, жетон с номером в карман, и бегом наверх, новый владелец моего «Фольксвагена» уже ждет, нахолившись, под часами. Машину он осматривал третьего дня, остался доволен настолько, что почти утратил способность торговаться; всего-то хлопот — отдать ключи и заранее приготовленную генеральную доверенность, забрать деньги — минутное дело. Я всегда стараюсь избавиться от машины, если уезжаю из города больше чем на месяц, а вернувшись, покупаю новую, практически первую попавшуюся, мне лень подолгу выбирать, и, по правде говоря, не имеет значения, на чем ездить, поначалу я в восторге от любого автомобиля, просто потому, что он новый, а через неделю надоест, мне быстро все надоедает, и знал бы кто, как я сам себе надоел за тридцать лет и три года.

Из Замоскворечья пешком до Малой Дмитровки, эспрессо, еще один эспрессо, Пашка наконец явился, отдаю ключи, сославшись на дела, отказываюсь от предложения пообедать. Он классный, мутная рыба с добрейшим сердцем, он, как говорится, *настоящий друг*, точнее, редчайшая разновидность приятеля, готового, в случае чего, помочь делом, легко, на бегу, искренне полагая всякий свой великодушный поступок сущей ерундой, а единственной адекватной реакцией спасенного — разовую устную благодарность; словом, Пашка настоящее сокровище, но мне не о чем с ним говорить, и не только с ним. По идее, молчание должно было осточертеть мне за эту зиму, но я только начал входить во вкус, поэтому обедать буду один. Или вовсе не буду, жрать мне, кажется, тоже надоело, хотя время от времени хочется, конечно, но сам процесс — изо дня в день одно и то же, жевать, глотать, тьфу.

Теперь книжный магазин и еще один книжный магазин, Карл спохватился в последний момент, длиннющий виш-лист вчера прислал, всех его заказов я, конечно, не исполню,

тут, по-хорошему, хотя бы неделя на поиски нужна, но примерно четверть списка мне вполне по силам. Чашка кофе на бегу, потом еще одна — на этой стадии мне требуется не столько кофеин, сколько пауза, чтобы перевести дух, проглядеть купленные книги, покоситься на часы, вздрогнуть, выругаться, вскочить, шаря в карманах, и, не дожидаясь сдачи, убежать. До поезда всего пятьдесят минут, а мне еще предстоит долгая изматывающая поездка на Белорусский вокзал, целых, страшно сказать, две остановки на метро.

Сделал всего ничего, даже пожрать не успел, а шести часов моей жизни как не бывало — обычное дело, в Москве все так живут, вечно ни черта не успевают, кроме самого необходимого, да и то за счет сна; здесь, кажется, нет ни одного человека, который может позволить себе спать, сколько хочется, даже дети хронически недосыпают. Однажды жители этого города сойдут с ума от усталости, останется надеяться, что все в один день, так им будет проще освоиться, а я сюда — ни ногой, по крайней мере, в ближайшие месяцы, а потом будь что будет.

Истекая временем, я рухнул на бархатное, синее с золотом, покрывало и вознес привычную дорожную молитву: «Пожалуйста, Господи, никаких соседей, будь человеком, очень Тебя прошу». Окажись я сам на месте Бога, вряд ли потрудился бы исполнять капризы церковно необработанного мизантропа, вспоминающего обо мне только перед отправлением очередного поезда дальнего следования, однако Он, в отличие от меня, не мелочен, молитва, как всегда, подействовала, в мое купе никто не вошел. А когда поезд потихоньку отполз от платформы, края рваной раны стали затягиваться, время мое загустело и замедлило ход, так что при известном воображении вполне можно было представить, что его хватит еще очень, очень надолго, а может быть, даже *навсегда*. Прежде у меня это получалось, а теперь не очень, но надо стараться.

Проводница забрала билет, включила телевизор и, не дав мне опомниться, ушла. Бедняжка, надо думать, убеж-

дена, будто включить телевизор — благодеяние такого масштаба, что мнения облагодетельствованного можно не спрашивать, кто же в здравом уме от своего счастья откажется? Считается, вероятно, что каждая минута, проведенная в тишине, — почти непереносимое мучение; возможно, это уже неопровержимо доказали британские ученые и увидели из космоса астронавты. Прежде пассажиры добирались до станции назначения истерзанные молчанием, едва живые от этой муки, а теперь наступил золотой век, еще немного, и конфискация телевизора останется единственным уголовным наказанием; впрочем, ООН быстро приравняет этот варварский метод к пыткам и искоренит повсеместно, можно не сомневаться.

Я бы мог еще долго исходить желчью, но наконец нашел тщательно замаскированную кнопку, выключил визгливую дрянь и, довольный собой, усталый в окно. За окном мелькали подмосковные дачи, по большей части, скромные деревянные курятники. Солидные дома, вроде моего бывшего загородного убежища, возле железнодорожного полотна не строят. Москва осталась позади, и черт с ней, я живу здесь только ради немыслимого счастья регулярно ее покидать. Страшно подумать, какой кайф я словлю в тот день, когда наконец уеду из Москвы навсегда, того гляди сердце не выдержит. Оно и сейчас-то едва справляется, отвыкло за зиму от бурных положительных эмоций, поэтому придется посетить вонючий тамбур и испелить там сигарету-другую, этот процесс чрезвычайно меня успокаивает.

Справедливости ради следует отметить, что в тамбуре, вопреки моим прогнозам, пахло не жжеными портянками — обычный аромат практически всех сортов сигарет, какие можно найти в широкой продаже, включая самые пафосные, они, честно говоря, даже хуже прочих — но медом и черносливом. В смысле, великолепным трубочным табаком, на фоне которого даже я со своей благородной вишневой

самокруткой буду тварью смердящей — непривычная позиция. На радостях я даже извинился.

— У меня хороший табак, но не трубочный, так что сейчас испорчу атмосферу, простите.

Обладатель трубки, чье лицо было почти полностью скрыто под длинным замшевым козырьком жокейской кепки с наушниками, сперва снисходительно отмахнулся — дескать, делайте, что хотите, но потом вдруг уставился на меня с доброжелательным любопытством ученого-орнитолога, обнаружившего редкий экземпляр древесного гриба — вроде не по его специальности находка, а все равно интересно. И я тут же пожалел, что заговорил, дал ему повод ответить, теперь, вместо того чтобы спокойно покурить, придется поддерживать светскую беседу, кто меня за язык тянул, эх.

— Вам придется многому научиться, — внезапно сказал он. — А то совсем пропадете.

Его реплика меня развеселила, по крайней мере, такое начало совершенно не походило на традиционную болтовню попутчиков о погоде и ценах на спиртное в пунктах отправления и прибытия. Так что я не стал ограничиваться вежливым кивком, ответил по-человечески.

— Учиться я уже пробовал. Три незаконченных выских, скучное оказалось занятие. Но до сих пор вроде не пропал.

— Да я не о высшем образовании. Скорее о разных практических навыках. Очень хорошо, когда человек, *земную жизнь пройдя до половины*, умеет водить автобус, говорить, к примеру, на датском и чешском языках, фотографировать, просыпаться в тот момент, когда сочтет нужным, накладывать грим, взламывать замки и печь пироги... — начал обстоятельно объяснять обладатель трубки и капюшона. Но вдруг запнулся на полуслове и махнул рукой: — Ладно, не обращайтесь внимания. Сами разберетесь. По ходу дела.

Я собрался было ответить вежливо и снисходительно, дескать, спасибо за доверие, разберусь непременно — но

мой попутчик уже отвернулся к окну и окружил себя такой плотной завесой табачного дыма, словно к цирковому фокусу с исчезновением приготовился; исчез он или просто отправился потом на свое место, неведомо, потому что я ушел раньше и больше его не видел — ни в тамбуре, ни в коридоре, ни за приоткрытыми дверями чужих купе, ни даже на платформе в Вильнюсе, хотя это как раз легко объяснимо, он мог преспокойно выйти в Смоленске, Минске или на любой другой промежуточной станции.

Я люблю спать в поездах, но железнодорожное расписание редко согласуется с моим режимом дня. Эти негодяи так и норовят прибыть к месту назначения с утра пораньше и испортить мне все удовольствие. Поезд Москва — Вильнюс не исключение; в этом смысле он даже хуже прочих: заснуть мне удается, в лучшем случае, около трех, а в половине шестого приходят белорусские пограничники, еще час спустя — литовские. С ними, впрочем, общается мой автопилот. Звезд с неба он не хватает, но показывать документы и приветливо говорить таможенникам волшебную формулу: «Только личные вещи» — обучен. Однако в семь проводница приносит горчайший в мире кофе, доверчивый автопилот пробует его, соблазнившись запахом, и вот тогда-то просыпаюсь я, такой злой и несчастный, что бедняге автопилоту страшно оставаться в одном купе с этим типом. Обычно он запирает меня в туалете, благо там всегда есть чем заняться — например, бритьем, с которым мой автопилот в одиночку, увы, не справляется, сколько его ни учи.

А ровно в семь сорок пять мы с автопилотом выходим на перрон. Я несу саквояж, а он бежит к банкомату за наличностью, я кормлю монетами кофейный автомат, а он оглядывается в поисках таксистов, я говорю: «Нет уж, пешком», — а он раздраженно фыркает: «Тогда справляйся сам, я умываю руки», — и поспешно прячется на одной из окраинных планет моего внутреннего космоса, еще не открытых моими внутренними астрономами. А я иду в город — пеш-

ком, с тяжеленным саквояжем в одной руке и теплым картонным стаканчиком в другой, оставляя за собой шлейф кофейного аромата.

С каждым шагом, по мере повышения уровня кофеина в крови, органическая жизнь кажется мне все более приемлемым занятием; минут через десять, выбрасывая пустую картонку в урну на улице Базилиону, я уже согласен считать бытие скорее удовольствием, чем тяжелой работой, и это правильно, потому что только в таком настроении можно входить в Старый Город через Врата Зари, под ликующий птичий гвалт, благодатным дождем изливающийся с небес. У самых ворот я всегда замедляю шаг, и тогда поднимается ветер, он бесцеремонно подталкивает меня в спину — дескать, давай, не мешкай, заходи. Я делаю шаг, другой и третий, ступаю под свод, и птичьи вопли превращаются в колокольный звон, выхлопные газы становятся ладаном и миррой, а кофеин в моей крови — качественным опиум. Уверен, если бы у меня была с собой тыква, она бы непременно превратилась в карету, но я вечно забываю пройти мимо центрального рынка и купить экспериментальный образец.

Я вхожу в Старый Город — на заре, через Врата Зари, скулы мои пылают, глаза леденеют, а дыхание замирает. Я бесчувственное бревно; по крайней мере, это словосочетание столь часто звучало в мой адрес, что было бы глупо продолжать считать себя чувствительным куском мяса, но Вильна как-то сумела ухватить меня за сердце и с тех пор не отпускает. Рука ее ласкова, но тверда, поэтому лучше не трепыхаться; я, впрочем, даже рад, что так получилось. Приезжать в этот город — праздник, который я могу устраивать себе так часто, как пожелаю, поэтому вряд ли я когда-нибудь переберусь сюда окончательно, знаю ведь, каков будет итог: поселюсь в Старом Городе, стану дрыхнуть до полудня и раздражаться от необходимости выходить на запруженную туристами улицу; помаявшись, заведу новую зазнобу где-нибудь в радиусе тысячи километров от дома,

а это чертовски глупо, лучше Вильны все равно ничего не придумаешь, поэтому следует оставить все как есть.

Апрель только начался, так что по пустынным верандам виленских кофеен гуляет ветер, а внутри нынче не курят — сами виноваты, потеряли роскошного клиента в моем лице, первая утренняя сигарета уже полчаса нетерпеливо ворочается в портсигаре, не хочу ее мучить. Поэтому «роскошный клиент» покупает очередной картонный стаканчик горькой бурды в первом попавшемся газетном киоске, размещает свое роскошное тело в роскошном пальто на сырой скамейке в чужом дворе и достает из одного кармана портсигар, из второго — зажигалку, а из третьего — телефон. Карл еще наверняка спит, поэтому звоню Ренате: приехал, иду пешком, не волнуйся. Господь с тобой, Фелечка, отвечает она, зачем бы мне волноваться? До сих пор не пропал без присмотра, а теперь уже захочешь — не пропадешь, большой мальчик, раньше надо было.

Рената кладет трубку, и я снова остаюсь один. Ну и дурень, пропасть — и то не сумел, балбес несчастный. В твои годы все приличные люди уже давным-давно без присмотра пропали, некоторые даже и по два раза, а ты? Стыдно должно быть, — говорю я себе, мой внутренний голос старательно копирует интонации Ренаты, которая через полчаса будет кормить меня завтраком, и если есть на свете счастье, то это — оно.

Но, да, только через полчаса, никак не раньше. Мой автопилот не напрасно порывался взять такси у вокзала. Карл живет на противоположном краю городского центра, на короткой, узкой улице, застроенной почти игрушечными трехэтажными домами. Об ее название — Савицкё — можно оцарапать язык, но достаточно поглядеть по сторонам, и раны затянутся. Савицкё настолько не похожа на все остальные виленские улицы, что свернувший туда случайный прохожий обычно останавливается, словно бы упершись в невидимую стену, и растерянно оглядывается по сторонам: где я? В Вильне, где же еще, хотя улица Савицкё

действительно кажется фрагментом захолустного немецкого городка, отстроенного где-нибудь на рубеже прошлого и позапрошлого веков; похоже, реальность в этом месте на миг отвлеклась, забылась, задумалась о чем-то своем и по рассеянности свернулась аккуратным тевтонским крендельком.

Посреди этого пряничного квартала Карл умудрился выкупить целый подъезд, от подвала до мансарды, увенчанной островерхой красной башенкой с флюгером. То есть сперва он купил квартиру с мансардой наверху, а потом соблазнил соседей снизу ценой вдвое выше тогдашней рыночной. Вовремя успел, нынче виленская недвижимость поднялась в цене, так что тех денег хватило бы, в лучшем случае, на флюгер. Впрочем, сослагательное наклонение совершенно неприменимо к Карлу, он все всегда делает вовремя, в самый подходящий момент, это не всегда очевидно в процессе, но какое-то время спустя непременно обнаруживается, что он опять угадал.

Меня самого считают феноменально везучим, но я-то знаю, мое хваленое везение — бледная тень Карловой удачи; впрочем, мне хватает, грех жаловаться, тем более что свой главный банк я сорвал еще в раннем детстве — получил лучшего в мире отца, единственный в своем роде, эксклюзивный экземпляр.

Наша с Карлом семейная история настолько сентиментальна и мелодраматична, что кажется сценарием мыльной оперы. Иметь такую биографию просто неприлично, один выход — никому никогда не рассказывать. Я, собственно, и не рассказываю, только однажды уборщице тете Саше, с которой мы прятались в подвале, когда горел наш пресненский офис, но тетя Саша — идеальная аудитория для истории о счастливом спасении сироты, ей — можно.

Началось все с того, что у Карла и моей мамы был роман, бурный и непродолжительный; потом она по уши влюбилась в заезжего артиста, а изгнанный из рая Карл уехал на первые в своей жизни гастроли и, таким образом,

сам стал *заезжим артистом* для великого множества других девушек. Еще какое-то время спустя родился я; никаких воспоминаний о той поре у меня не сохранилось, но надо думать, мы с мамой жили вместе долго и счастливо, целых четыре года, а потом она в очередной раз влюбилась, на этот раз в альпиниста-разрядника, отправила меня на все лето на дачу с детским садом, а сама уехала в горы с новым возлюбленным; надеюсь, они прекрасно провели там время, потому что это были последние дни их жизни — обоих накрыла лавина, обоих нашли спасатели чуть ли не год спустя, когда уже не только спасать, а и хоронить поздно.

Все это я, впрочем, знаю только с чужих слов, зато смутно помню, что меня, поскольку близких родственников не обнаружилось, отправили в детский дом, и мне там очень не понравилось. Вроде бы никто меня особо не обижал, но там не было мамы, моих игрушек и детсадовских друзей, зато были какие-то чужие противные дети и еще более противные чужие взрослые; кажется, я постоянно мерз, целыми днями от всех прятался и думал: пусть меня отсюда куда-нибудь заберут. А потом появился Карл.

Нашу встречу я помню очень хорошо; собственно, это мое первое настоящее, связанное и яркое впечатление детства. В этот день нам на завтрак выдали по конфете «батончик», я совершенно ошалел от свалившегося на меня богатства и никак не мог решиться съесть свою конфету, обстановка казалась мне неподобающей для столь грандиозного события, поэтому я спрятал «батончик» за пазуху и бродил по двору, придерживая свое сокровище рукой, чтобы не исчезло. А потом меня позвали в дом и куда-то повели — сперва наверх, потом снова вниз; я смутно тревожился за конфету, но виду не подавал. Наконец я попал в комнату, которая показалась мне огромной, и там увидел Карла. В первый момент я решил, что он тоже ребенок, просто очень большого роста; по большому счету, я не так уж ошибся, в детстве, когда еще не знаешь толком, *как все*

устроено, проще видеть вещи такими, каковы они есть. Карл не был похож на взрослых, которые меня окружали, а что размеры человеческого тела свидетельствуют о достижении определенного возраста, я, разумеется, еще не знал. То есть уже начал догадываться, но считал это суммой собственных наблюдений, а не жестким правилом. Словом, я подумал, что Карл — очень крупный ребенок, вероятно, новенький, с которым нужно познакомиться, и обрадовался, у этого большого мальчика на лбу было написано: «Со мной легко подружиться», — а мне в те дни очень не хватало друга.

На завтраке «новенького» еще не было, а то я бы непременно его заметил. Это означало, что ему не досталось конфеты. Надо же, как не повезло! Сочувствие придало мне решимости, я достал из-за пазухи свой «батончик», протянул его Карлу и сказал: «На, бери, не бойся, мы с тобой будем дружить». «Еще как будем, — согласился Карл. Развернул конфету, откусил краешек, остальное отдал мне и твердо сказал: — Попролам, так по-честному». Я кивнул и поспешно сунул свою долю за щеку.

Понятия не имею, как он договаривался и оформлял документы, известно же, что сироту легче убить, чем усыновить. Конечно, Карл уже в ту пору был чем-то вроде знаменитости, но органист — не киноактер, от его улыбки не открываются запертые двери и волшебные лиловые печати не появляются на казенных бумагах. Сам он говорит, дескать, ерунда, ничего особенного, знакомые помогли. Карл вообще не любитель вдаваться в подробности, это вгоняет его в тоску, так что я не настаиваю. Так или иначе, но в детском доме я оставался недолго. То есть мне до сих пор кажется, что Карл забрал меня в тот же день — вот я жую конфету, а вот мы уже в поезде, который перевернул все мои прежние представления о реальности, и Карл уговаривает меня хотя бы на минутку отлипнуть от окна и съесть мороженое, пока не растаяло. Но сам он утверждает, что в поезд мы сели только через две недели; впрочем, какая

разница, главное, что сели и поехали, неудивительно, что я до сих пор так люблю поезда, сутками готов трястись в душном вагоне, вместо того чтобы спокойно долететь до места за пару часов, самому смешно.

От проспекта Гедиминаса сворачиваю вниз, к реке. Один короткий квартал, потом налево, и вот она, башенка с флюгером, в самом центре короткой шеренги нарядных строений. Кухонное окно на первом этаже распахнуто настежь, и Ренатин яблочный пирог благоухает на всю улицу, так что нарциссы в палисадниках вянут, не в силах вынести такое соперничество.

Сама Рената ждет меня в дверях — алый джемпер, широченная юбка до пят, красные домашние туфли без задников, цыганские серьги, белоснежные волосы собраны на затылке в греческий узел. Когда Рената стала моей няней, ей уже было за сорок, но она казалась мне самой красивой женщиной в мире. Собственно, именно по этой причине она и стала моей няней. Я сам с ней познакомился на улице — увидел, побежал, вцепился в подол и стоял насмерть, твердо зная, что отпускать ее, такую прекрасную, нельзя. Пока Карл с присущей ему деликатностью пытался меня отцепить, они успели познакомиться и разговориться. Выяснилось, что Рената неделю назад бросила работу, мужа, деревянный дом в Жверинасе*, словом, все, что у нее было, и приехала в Москву со смутным намерением начать какую-нибудь «новую жизнь», остановилась пока у двоюродной сестры, но это, понятно, не может продолжаться вечно. Карл встрепенулся, почуяв удачу, и тут же объявил, что ребенку срочно требуется няня, совершенно верно, с проживанием, будет вам отдельная комната, да вообще все что угодно, вы же видите, он все равно вас не отпустит. И ей пришлось согласиться — это действительно было проще, чем оторвать меня от юбки.

* Район Вильнюса, до сих пор застроенный, по большей части, двухэтажными домами, окруженными палисадниками.

С тех пор Рената почти не изменилась, да и я, по правде сказать, остался при своем мнении — она неопишимо прекрасна, даже удивительно, как Небесная Канцелярия допустила, чтобы столь совершенное существо вот так запросто бродило среди нас.

— Фелечка, — басом говорит совершенное существо, — ты когда в последний раз ел? Только не ври, что на этой неделе.

— Вчера вечером, в поезде, какую-то бледную курицу, святая правда, жрал, как миленький, потом еще по тарелке хлебом мазал...

— Ладно, — вздыхает она, — поставим вопрос иначе. Когда ты ел в предпоследний раз?

А действительно, когда? Нет ответа.

— Одни скулы остались, и нос, с ним-то все в порядке, кажется, даже еще вырос, — влюбленно ворчит Рената, укладывая на тарелку омлет размером с Кафедральную площадь. — С чего это ты на всю зиму в Москве засел, даже на Рождество не приехал? Медом тебе там намазано?

— Намазано, — мрачно киваю я. — Не медом, какой-то другой дрянью, но намазано, факт. Смурной я в последнее время, а там это всем по барабану, в смысле, никому не мешает, вот я и...

— Очень разумно, — кивает Рената. — А еще разумнее было бы сразу повеситься. Чего тянуть?

— Просто я не ищу легких путей, — огрызаюсь.

На самом деле я, конечно, ломаю комедию, меня уже *отпустило*, в этом доме меня всегда *отпускает*, прожив здесь несколько дней, я, чего доброго, снова начну врать себе, будто в человеческой жизни есть какой-то высший смысл, заранее содрогаюсь.

— Заметно, что не ищешь, — вздыхает Рената.

В отличие от Карла, которому нравится решительно все, что я делаю, Рената, я знаю, немного обижается, что я не живу вместе с ними. Пока я учился и работал, все было в порядке, в смысле, объяснимо: ребенка нет дома, потому